

Жасмин — женщина, сбежавшая с дочерью от мужа-деспота и отчаявшаяся найти покой и счастье в чужом городе. Георгий — инвалид, потерявший в автокатастрофе ногу, жену и, похоже, самого себя. Две эти израненные души встретились явно не случайно — им благоволят высшие силы, даруя шанс обрести любовь, о которой оба мечтали. Георгий всем сердцем привязался к чуткой и нежной Жасмин, и она оттаяла, почувствовав себя любимой. И когда муж Жасмин неожиданно находит беглянку и хочет отобрать у нее дочь, женщина-цветок теперь не одна — рядом с ней мужчина, которого она ждала всю жизнь.

Я осторожно целую ее губами, пахнущими кофе, который она теперь не переносит, и у меня кружится голова, словно от коньяка, который не переношу я. Глаза ее закрыты, я уже не вижу их пронзительной синевы, и мне уже не до сравнения их со всеми предметами и явлениями, которые я знаю... Потому что теперь у меня есть вся она: маленькая хрупкая женщина-птица, женщина-музыка, женщина-цветок...

www.bookclub.ua

ISBN 978-617-12-4981-3



9 786171 249813



Наталья
КОСТИНА

Наталья
КОСТИНА

ВСЕ, ЧТО МЫ ЕЩЕ СКАЖЕМ

**ВСЕ, ЧТО
МЫ ЕЩЕ СКАЖЕМ**



Наталья
КОСТИНА

ВСЕ, ЧТО МЫ ЕЩЕ СКАЖЕМ

РОМАН

ХАРЬКОВ  КЛУБ
2018  СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

УДК 821.161.1(477)
К72



Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Дизайн обложки *агентства «Тим+»*

ISBN 978-617-12-4981-3

- © Костина-Кассанелли Н., 2018
- © Depositphotos.com/freevector,
иллюстрация, 2018
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2018
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2018

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Ин 1, 5

Спи, не плач:
Принесе киця калач,
Медом помаже,
Тобі покаже —
А сама з'їсть.

*Народная
украинская
потешка*

Гошка, он же инвалид

— Гоша-а-а!! Го-о-ош-к-а-а!!.

Кричали и колотили так, что еще чуток — и дверь бы определенно вынесли. Сказать, что я вылетел пулей?.. Нет, я просто не помнил, как вскочил, как открыл замок...

Обычно сплю я не очень крепко — но сегодня, после неожиданного рабочего аврала, когда я окончательно зашел в тупик в отношениях с трудным заказчиком, а потом и слегка употребил по этому поводу — просто, чтобы успокоить нервы, — словом, употребивши и успокоившись, я вырубился под бубнеж телика, который давно пора было снести на помойку — вместе с его никчемным бубнежом. Не знаю, отчего я терпел анахронизм, поселившийся в доме еще при родителях; но я терпел его, как терпят кота, раз за разом гадящего в тапки, и ждал, пока тот наконец подохнет собственной смертью. Именно проклятое устройство, предназначенное в основном для закачивания в мозги рекламы, а также для выедания их чайной ложечкой, и было виновато. Я не сразу просек, что орет и грохает не озвучка, а реал: колотят в мою собственную металлическую дверь, вопя при этом столь отчаянно, что меня буквально снесло с дивана, где я закемарил.

Выскочил я в чем был — мой костюм-тройка состоял из трусов и пары костылей, но соседка — Петровна? Васильевна? — словом, почтенная пожилая леди, живущая напротив, претензий не предъявила. Думаю, она вообще вряд ли заметила бы, даже будь я без основной части своего прикида.

На ней, что называется, лица не было — а то, что находилось на месте толстых румяных щек и вечно прищуренных, ищущих свою выгоду глазок, ходило ходуном и тряслось студнем, вместе с тумбообразным туловом, упакованным в старый махровый халат.

Крик, халат, прыгающие губы и забрызганный слюной подбородок врезались в глаза мгновенно. Лишь раз взглянув, я и через сто лет смог бы описать в мельчайших деталях все: и пятна на халате той, что разносила на фиг мою дверь, и мелкий сор на площадке под нашими ногами, и тусклую лампочку в самодельной сварной сетке, надетой на сей осветительный прибор, чтобы его постоянно не лямзили... Сетка бросала гротескные тени на раззявленный в крике рот, на меня, остолбенело плящего зенки, и на декорации в стиле «пролетарский авангард»: исписанную маркером дверь лифта и табличку на помещении ЖЭКа, помещающегося напротив наших — с Петровной? Васильевной? — квартир, бесстрастно информировавшую граждан о часах приема.

— Повесилась!!!

Я машинально отер с лица брызги.

— Пряма у меня в квартире!! Повесилась!!

— Ма-а-а-а-а-ма-а-а-а-а!! — страшно неслось из полуоткрытой соседской двери.

Я грубо двинул в сторону неидентифицированную махровую Петровну, и она, впечатавшись в виртуозно проиллюстрированный пост о чьей-то половой распущенности, с воем стала оседать прямо на вверенный ее попечению нечистый цементный пол.

— Ма-а-а-а-ма-а-а-а!! Не на-а-а-а-адо!!

Девчонка все делала правильно: держала тело за ноги, толкая его вверх и не давая петле пережать шею намертво. Мать была по крайней мере раза в полтора крупнее — или же мне это просто показалось, потому что повешенный человек вы-

глядит очень длинным? Но сопоставлять и раздумывать было некогда: я перехватил дергающиеся ноги и рывкнул:

— Нож!! Нож неси!!

Она мелко-мелко закивала, но с места так и не двинулась: шок. Один костыль уже выскользнул и валялся на полу — и надежда на то, что я устою под весом пляшущего в петле тела на одной ноге и удержу эту повесившуюся дуру, истаявала с каждой секундой.

— Нож! — заорал я, и девчонка наконец очнулась, затопала по коридору и, судя по звуку, уронила там, на кухне неизвестно куда подевавшейся в критический момент Петровны-Васильевны, все ножи разом, вместе с ящиком.

Я стиснул зубы и молился, чтобы не упасть, чтобы выстоять вместе с этим конвульсивно дергающимся телом: если тщедушный подросток не дал женщине в петле умереть, то и я смогу... смогу... смогу!..

Она вернулась быстрее, чем я ожидал, без лишних криков и рыданий в два прыжка взлетела на письменный стол и полоснула наконец по веревке ножом. Я не удержал ее мать, и мы упали вдвоем, прямо на мои угловатые костыли: я — боком, она — сверху, мешком, глухо и безжизненно стукнув о паркет головой.

— Петлю... — прохрипел я из-под нее. — Петлю ослабь...

Однако надежды, что перепуганная до смерти девчушка сделает как надо, не было — поэтому я злобно и бесцеремонно спихнул с себя тело: нашла когда вешаться, идиотка!

Словно поддерживая мое мнение о самоубийце, в дверях воздвиглась... да, все-таки Петровна, а не Васильевна — и завизжала:

— Впустила на свою голову!! А они ж, мать твою! У меня в квартире!! На улицу иди и там скоко хошь вешайся!

С улицы из незнамо зачем распахнутого в ноябрьскую сырость окна тянуло близкой помойкой, дизельной

гарью и почему-то антоновскими яблоками. У меня саднили ребра, которыми я приложился о собственный косяк, и костяшки пальцев — падая, я провез ими по стене.

— Скорую надо вызвать, — я вклинился между двумя воплями Петровны, но она только замигала недобрыми, черными, как эта осенняя ночь, гляделками:

— Еще чего! Неприятностей потом не оберешься! Ни прописки у нее, ни работы, ни денег... Участковому кто, я за нее отстегивать буду?! Да еще и вешаться придумала! — снова завела дворничиха о наблевшем. — У меня прям! Нашла дуру! От пожалела на свою голову! Собирайте манатки, и чтоб через час и духу вашего!..

Незадачливая самоубийца молчала. Дышала она с трудом, но самостоятельно, с видимым усилием втягивая воздух при каждом вдохе. В горле у нее свистело и похрипывало, но лицо вместо синюшно-багрового мало-помалу приобретало нормальный цвет. На шее у изгоняемой из дворницкого рая еще болтались остатки удавки.

— В дурку б тебя, сучку, щас отправить! — все не унималась хозяйка. — Привязать к койке, да под галоперидол! — неожиданно проявила недюжинное знание предмета Петровна. — Сама чего — вешайся хоть по сто раз на дню, а девку твою в детдом сдадут! Чтоб мамку потом всю жизнь вспоминала, как бросила! Добрым словом, тля... Да кто ж у нее есть, кроме тебя? А тебя утром я чтоб и как звать забыла! Увижу вас у квартире — сама придушу!

Она была неплохая баба, эта толстая ушлая Петровна, где-то даже душевная и отзывчивая, хотя и простая, как все менеджеры метлы. Впрочем, никакая другая и не впустила бы к себе одиночку с ребенком и, видимо, с большими проблемами. Ну, не вешаются же люди с бухты-барухты, просто от осеннего сплина? Такие люди берут пару пива, включают

устаревший телик и заваливаются на продавленный диван... короче, как-то так.

— Ну, я к себе... Позвольте?

Одним костылем я безуспешно пытаюсь выгрести из-под батареи уехавший туда второй.

— Инвалида из-за вас, мать вашу, сбудила! В одном споднем!

— Возьмите...

Девчонка, косясь на мою безобразно висящую из трусов культю, протянула костыль.

— Вот... воды выпей... дура.

— Валерьянки, — посоветовал я, — сразу столовую ложку. А еще лучше — водки. Полстакана как минимум.

— Имеется, — буркнула дворничиха и в сердцах хлопнула рамой окна, отсекая запахи невесть откуда взявшейся антоновки и родных мусорных баков. — И то, и, как говорится, другое!

Женщина: попытка повеситься

Этот город не выносил чужаков. Он был предназначен для своих. Он не принимал нас, приезжих. Понаехавших. Чужих. Недовольных. Неприкаянных. Ненужных. Мы не были его частью. Родившимися в его утробе и под его небом. Впервые увидевшими солнце из его окна. Возвращающимися на его не самые красивые в мире улицы из куда более впечатляющих городов, но все же со вздохом облегчения: его кровное выбирало ДОМ.

Город отвергал нас — призраков с выпотрошенной душой и пустыми глазами, которые искали неизвестно чего: радости? Нового счастья вместо утерянного? Или хотя бы просто покоя? В наших глазах не отражалось ничего дорогого

и важного для города: сейчас это был уют осенней листвы, золото и царственный багрец красок, терпко благоухающие и шуршащие под ногами ковры... Но мы, неблагодарные и слепые, не замечали ни белок в парке, которых он выпускал специально для нас, ни хрустальной промытости небес и мягкости света... ничего, ничего, ничего... И нам было плевать на его историю — на старое и новое, на прошлое и настоящее. Будущего мы тоже не видели. Потому что были слишком поглощены собой.

Именно поэтому мы — лишние детали в отлаженном механизме. Мы стопорим все. Мы выпадаем из пазла города, как нечто чужеродное, потому что мы — не из этой картины; мы — с одновременно напряженными и пустыми лицами, где старое уже стерто, а новое — еще не написано. Да и будет ли вообще написано это новое, если мы не старались оторвать от себя старое? Которое всплывало и всплывало, словно сор из потревоженного пруда. Но мы ПЫТАЛИСЬ... во всяком случае, Я пыталась. Хотела. Стремилась. Даже жаждала — если выразаться высоким стилем. Но... я была и осталась никем. Я не смогла. Не вписалась. Не въехала, как говорит Лиска. Не ввинтилась, не вошла в нужный круг, не втиснулась... Не, не, не... Не договорилась. Не улыбнулась, когда надо. И когда этого от меня ждали, не заплакала. Я не подставилась. Не поддержала разговор о нас же, чужих, ревностно оберегая сокровенное: то, что уже не имело никакой цены. Свое никчемное душевное барахло... Но главное — не оставила прошлое там, где оно есть.

Потому что я еще помнила, как была счастлива. В другой жизни. Задолго ДО. И не говорите, что это нельзя вернуть... потому что это НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ! Вот отчего я и плачу здесь, сейчас, на других улицах другого города. Который не принимает нас... возможно, потому, что мы не принимаем его? Ищем на его улицах дома, которых здесь нет, да и быть

не может? Да и улиц тоже... Другие запахи... другие лица... нам кажется, что даже листья на деревьях другие. И падают они тоже не так! Только мы всё бредем среди чужого и всё надеемся за каким-то поворотом встретить свое... И не можем понять, что его нет. Нет! И что теперь мы должны любой ценой встраиваться сюда. В чужую жизнь, которая раз за разом отвергает нас. Выплевывает. Сто, тысячу раз подряд. А мы все надеемся, что в тысячу первый она нас примет. Откроет портал. Впустит в другой, параллельный мир. В уютные комнаты с запахом кофе и солнечными бликами на стенах по утрам, где однажды мы проснемся счастливыми...

Я брела неизвестно куда, и меня не оставляло мерзкое чувство, что я напрасно пыталась занять чье-то место. Вытеснить кого-то, лишит законного, заслуженного, отодвинуть плечом... влезть, распихивая локтями... Ввинтиться, как вирус в чужую клетку. Мимикрировать. Притвориться. Прикинуться не той, которая Я. Которая внутри. Которая на самом деле. Однако город был себе на уме. Он видал и не такие виды. И я со своими примитивными потугами только смешила его. Город смотрел на меня и смеялся: всеми окнами, арками дворов, проездами, площадями, перспективами... Он смеялся вот так: ха-ха-ха! Мне же не оставалось ничего, только просить его сжалиться... умолять... Я уже готова была ползать на коленях, поклониться ему — хотя больше всего я желала крикнуть, завизжать, заорать в его надменную рожу: я ненавижу, ненавижу тебя!

Не знаю, вынырнула ли я из этого помрачения рассудка, очнулась ли... скорее, просто перестала препираться с собой, мысленно и наяву размахивая руками и доказывая что-то, чего и сама до конца не понимала... Словом, внезапно я обнаружила себя сидящей на вокзале, куда приплелась точно так, как лошадь приходит в стойло. Я оказалась здесь по привычке. И потому, что хорошо знала только этот маршрут.

Я бывала здесь часто... Зачем, почему я сюда приходила? Оттого, что тут начинался отсчет? Находилась некая отправная точка? Нулевой меридиан? Сакральное место, из которого можно попасть куда угодно? Куда угодно — но только не туда, откуда нас выбросило! Выкинуло. Переместило. Словно сработала некая машина времени. Но мы не были доставлены куда нужно. Произошла крохотная ошибка в расчетах. Ничтожная. Незаметная. В пределах погрешности, но...

Мы попали не туда, куда жаждали, — а в некое другое пространство. Где все и сразу пошло наперекосяк. Где я опаздывала на важные встречи. Ходила вялая, как снулая рыба. Говорила невпопад. И с тем неуловимым акцентом, который явственно выказывал во мне чужую. Выдавал меня с головой. С потрохами. Со всем моим невыносимым апломбом. Амбициями. Страхом. С моей болезненной ночной бессонницей. И поэтому ОНИ отторгали нас — те, которые считали себя здоровыми. Успешными. Самодостаточными. Они не желали впускать нас и делиться хоть чем-то. Хотя бы теми же осенними листьями... которые были не наши и не для нас. После краткого просмотра их надлежало сдать обратно. Без использования и порчи. И заплатить немислимую цену за это бутафорское барахло...

Я сидела на вокзале. Это было единственное место, делавшее исключение для нас, чужаков. Отторгаемых другими тканями города. Которые вырабатывали на нас антитела. Выбрасывали нас. Выжимали. Вышвыривали в пустоту. Туда, где мне, валившейся с ног после трех суток бессонницы и засыпавшей от нечеловеческой усталости, снились нечеловеческие же кошмары... сны, которые я не могла объяснить. Сны, начавшиеся именно в этом проклятом городе!.. Куда я все-таки не должна была приезжать... наверное. Мне стоило потерпеть... притерпеться... простить и самой по-

просить прощения — хотя, видит Бог, я НИ В ЧЕМ НЕ БЫЛА ВИНОВАТА!

Я грела руки о пластиковый стаканчик с кофе, который медленно остывал и из которого я не сделала ни глотка. Глупо. Все, о чем я рассуждала сейчас, и все, что делала со времени своего приезда — начиная с поиска работы и заканчивая ночным неудавшимся суицидом, — все было глупо. Нелепо. Несуразно. Несвоевременно. Ненужно. Особенно последнее... Дешевый театр! Дешевый, потому что я не умерла. И ничего не добилась, кроме того, что нас вышвырнули из единственного доступного пристанища — комнатенки в дворницкой с видом на мусорные баки. Да и стремилась ли я умереть на самом деле? Кого я хотела разжалобить устроенным на публику представлением? Балаганом. Цирком. Да, именно цирком! Ведь я из тех клоунов, каким достаются не смех и аплодисменты, а лишь свист и шиканье. Мы унылы, неуклюжи, неловки... и глядим глазами побитой собаки. Именно нас — плаксивых, нелепых, неуклюжих и несуразных — весело колотят, пинают и роняют в грязные опилки арены рыжие и ражие бодрые собратья, унижая на потеху толпе, не терпящей уныния, скуки и чужих слез. Пришедшим на представление — не до чужого горя, им с лихвой хватает своего. Они приходят в балаган, оставляя свое за порогом, они желают развлечься. Развяться. Посмеяться. Потешиться и позабавиться. И тот, кто еще унылее, незадачливее и несчастнее, оказывается здесь очень кстати! И они от души гогочут. Над твоей неловкостью. Глупостью. Твоими слезами, исторгаемыми фонтаном. И, разумеется, над твоей настоящей веревкой, привязанной к тому, что не должно было тебя выдержать — но выдержало. Не лопнуло. Не выдернулось из потолка. Не сломалось. А вот ты — сломалась... Окончательно. Бесповоротно. Так сломалась, что даже повеситься снова не попытаешься...

И что ж теперь — начинать все сначала? Глупое слово — сначала... Найти бы это самое начало... Чтобы знать наверняка, откуда отсчитывать. С какого момента? Часа? Секунды? Мига?

Я явилась сюда — в свою собственную точку отсчета, — но и тут тоже ничего нет... кроме остывшего, ненужного кофе. Который уж никак не может быть началом. Тогда что же? Да, конечно, как же я забыла: вначале было слово и только потом — все остальное. Слово! Слово — оно всегда в начале всего. Любви. Жизни. Глупости. Разрыва. Бегства. Ошибок. Только смерть безмолвна. Я не оставила записки, потому что кончились слова. Все. До единого. Пустые и наполненные смыслом. Большие и маленькие. Пафосные и серьезные. Или я ничего не объяснила, потому как рассчитывала, что меня вовремя остановят? Любой приговоренный к смерти надеется на помилование в последний момент... Я также жаждала прощения, какого ждут даже закоренелые убийцы, маньяки, насильники... Я никого не убила — никого!! Но зачем же тогда я САМА себя приговорила?!

Выходит, я таки тупой неуклюжий клоун с опилками вместо мозгов, клоун, заслуживший все: бесконечные щипки, и пинки, и издевательства, и ржание зала. И саднящую полоску на горле, к которой все время тянутся руки, так и не согревшиеся о пластиковый стаканчик. Потому что смешно было надеяться, будто он не выдержит — этот стальной, кондовый, накрепко вмазанный в цементную плиту крюк. Или что оборвется только что купленная синтетическая веревка... не затянется узел... не упадет табурет и ноги не будут так мучительно и безнадежно, не понимая, что их предали, искать опоры...

Дура, какая же я дура! Как там орала эта Петровна: привязать к койке и под галоперидол? Жаль, что они — эта тетка со своим мерзко воняющим пивом одноногим по-

мощничком — меня туда не отправили. Стоило бы! Тогда, может, сейчас мне уже не было так мучительно больно... и стыдно. За то, что сделала — вернее, пыталась сделать. И что сторонила и считала ничтожествами их — приютившую нас простодушную тетёху и ее пивного соседа, которого в упор не видела, даже не считала нужным кивнуть при встрече... Алкаш с кренящейся, ныряющей поступью и невыразительной, такой же как походка, вечно съехавшей куда-то в сторону физиономией... О, они не стоили моего драгоценного внимания! Ведь это просто дворничиха и какой-то там работяга, по пьяни попавший под козловой кран, вагонетку, троллейбус или горячую руку с топором такого же простого работяги, — нужное подчеркнуть. И ты постоянно подчеркивала: осанкой, вздернутыми плечами и всем своим идиотским видом, насколько ты выше, духовнее, сложнее, несчастнее своим сложным несчастьем их, простых и незамысловатых! Подчеркивала презрительным пунктиром беглого взгляда, твердой чертой надменно вскинутого подбородка и многоточием того, как нарочито ты их не замечала...

На самом деле это ты оказалась одноклеточной. Амебой. Простейшим организмом — то выбрасывающим из себя все эти дурацкие ложноножки вины, раскаяния, сожалений и обид, то втягивающим их обратно. Потому что никак не можешь решиться жить — хотя бы как они — одним днем. Здесь и сейчас. В этом городе, в комнате прямо напротив мусорных баков... Потому что тебе больше негде. И не с кем. И если не получилось, не вышло другого — нужно стиснуть зубы и быть довольной! Или начать снова. Сначала. Сызнова. С самой первой буквы. Со звука. Или хотя бы с желания издать этот самый звук!..

Кофе — плохой помощник тому, кто хотел бы забыть все. Все прошлые слова. Все несбывшиеся надежды. И то, как

все, все в жизни рухнуло — глупо, некрасиво, совсем как я сама этой ночью. Это ВСЕ нужно забыть. Немедленно. Прямо сейчас. Все: и Лискин крик, ввинчивающийся в уши, где лавиной нарастает звон стремительно летящего навстречу небытия; и стук собственного тела о пол, который я всю последнюю неделю не удосуживалась мести; и тот затхлый, враждебный, чужой мир, в который я снова выпала... И того, кто не должен был прийти, приковылять на своей единственной, уцелевшей ноге, кто, несмотря на свою ущербность, был несомненно доволен собственным существованием... того, кто видел, как я дергалась, как хватала ртом спертый воздух этой проклятой дворницкой!..

Это все нужно будет забывать: день за днем, месяц за месяцем... всю жизнь. И чтобы забыть хоть как-то, хотя бы начерно, начинать нужно прямо сейчас. Здесь. На этом вокзале. В пыльном синтетическом кресле зала ожидания, куда меня впустили, хотя у меня не было никакого багажа и билета я тоже не смогла предъявить. Но у меня был стаканчик с кофе... наивный пропуск в точку отсчета. В мир номер ноль. Откуда можно двинуться в любом направлении. Но у меня нет направления. Нет ничего, кроме кофе, который остыл. И я остыла с ним вместе. Намертво. До состояния абсолютного нуля. Космоса. Черной дыры. Хотя что я знаю о черных дырах? Ничего, как и о большинстве вещей, существующих вокруг. Оказывается, и о людях я тоже ничего не знаю! Но я и НЕ ХОЧУ знать! Я не желаю их видеть. Слышать. Обонять. Чувствовать. Соприкасаться. Кожей. Глазами. Телом. Даже одеждой, в которую я прорастаю помимо своей воли... Я чувствую сверлящий взгляд на капюшоне, презрение — на спине, похоть — на поношенной заднице моих вытертых джинсов, сострадание — в точке, где вдруг нечаянно соприкасаются рукава... Мне ничего

этого не нужно. Особенно сострадания! Страдания. Я уже через это прошла. Как сквозь пустоту. Горячую пустыню. Я пересекла ее из края в край. Я выгорела. Из меня выплавились все чувства. Остались только ничего не значащие слова. Нет — оболочки слов. Каждодневная шелуха, лишенная всякого содержания. Слова без смысла. Полова. Ду-нешь — и нет ее. Ничего не остается. Можно и не искать того, на что когда-то я так надеялась — полновесного зерна, из которого вырастет новое...

Я внезапно вспомнила, как приехала сюда пять месяцев назад. Полная надежд. Слов. Настоящих слов! И за эти пять месяцев город вытряхнул, выманил, извлек и выменял на ничего не стоящие обещания все: и мои слова, и надежды. А потом вывернул наизнанку, как пустой пакет... как карман, чтобы удостовериться напоследок, не прячу ли я чего?.. Но у меня больше ничего не осталось. Вот почему крюк не выдержался. Не сломался. Я пустая. Я больше никто...

Да, кофе — плохой помощник, когда от тебя, прежней, остались одни обломки. И поэтому я купила бутылку коньяка. Не самого лучшего. Вернее — совсем не лучшего. Откровенно плохого. Но взять паленой водки мне не позволило что-то, зацепившееся за подкладку того самого пустого кармана... или то, что городу от меня оказалось просто не нужно?..

Я села прямо на холодные вокзальные ступени и долила стаканчик с кофе до краев. Отхлебнула и долила еще. И еще. И еще. Пока вкус кофе не перестал ощущаться. Я не ела уже, наверное, сутки, но не купила ничего, кроме коньяка, а он туго знал свое дело: легко размыл границы времени и пространства и загнал боль в такой дальний угол, что даже я с трудом могла ее разглядеть. Впрочем, мне уже не хотелось ничего разглядывать. Только сидеть... ждать... пить... молчать...

Галоперидол и Радистка Кэт

Она сидела на скамейке у подъезда — должно быть, ожидала благодетельницу Петровну. Вряд ли она дождалась бы ее сегодня, да и завтра тоже — это я знал лучше других. Потому как перед исчезновением хитрожопая дворничиха по-свойски завернула ко мне и проставилась: притащила водяру и ведро антоновских яблок, отчего я пришел к выводу, что у меня не было обонятельных галлюцинаций этой грёбаной ночью, — пахли все-таки яблоки, сваленные у дворничихи на балконе.

Сейчас я также не страдал обманом зрения — хотя лучше бы она мне привиделась, эта неудавшаяся самоубийца. Она была пьяная. Абсолютно. В стельку. Некрасиво, омерзительно пьяная. До состояния ветоши. Я не люблю пьяных женщин, просто терпеть их не могу. Не знаю, зачем я остановился. Может быть, потому, что Петровна вслед за яблоками перетащила через мой порог потертые клетчатые баулы с пожитками бывших квартирантов?

— Георгий Георгич, — пропищала она противным, искательным голоском, каким даже дворничихи умеют разговаривать, когда им что-то от тебя нужно. — Вот... собралась, значит, я... а их дома нет... с утра как умотали обои, и все... А я тут к сеструхе срочно в деревню... ты передай, Георгич, а? Вроде ничё ихнего не забыла. А я сала тебе привезу, колбаски домашней с чесночком... Сестра позвонила, кабана колют, приезжай, говорит, на свежину...

Дворничиха елозила глазами и мялась, но я и так все прекрасно понимал: она ж была не бессердечная, эта наша Петровна! И не слиняй она в спешном порядке на историческую родину, ее стопудово можно было бы уговорить, и даже без пол-литры, притараненной мне в виде взятки. Именно этого владелица антоновских яблок и боялась — своей до дрожи податливой сельской души. Поэтому и выдумала срочную

поездку к сестре, и кабана, который, небось, еще не увидел свой последний в жизни свинский сон и не съел окончательное ведро комбикорма или тех же пахучих яблок.

— Ты это, Георгич... выпьешь как-нибудь, — визитерша заскоружлыми пальцами извлекла откуда-то из недр своей немаркой дорожной куртки тару и брякнула ею о стол.

— Спасибо, Петровна, только я крепкого не употребляю. Вы же знаете.

— Все потребляют! — припечатала она тоном доктора Хауса, который утверждал, что все врут. — Так вещички-то передашь, а, Гош? Придет она за ими к вечеру, небось...

Вряд ли ночная самоубийца в таком виде явилась за вещами, подумал я. Если бы дамочку не подпирала спинка скамейки, она бы просто свалилась. Хотя, возможно, я предъявляю к жертве высокого градуса, с которым давно завязал сам, слишком суровые требования? Добралась же она до скамейки своими ногами? Или, чтобы вызвать сочувствие и понимание, она напилась прямо тут, под нашими с Петровной окнами?

У дворничихи, во благовремени отъехавшей в село, было тихо и темно. Я сам, малодушно допустивший водворение клетчатых сумок в прихожую, затем также малодушно смотал удочки в контору, куда мне не было никакой нужды являться, и точил там лясы с девочками до самого вечера, разрушая рабочую атмосферу и свой имидж сурового начальника и глупо надеясь, что в мое отсутствие здесь как-нибудь утрясется само собой.

То, что не утряслось, сидело в промозглых осенних сумерках прямо передо мной, уронив лицо и безвольно бросив руки между коленями. Я еще мог сделать вид, что не узнаю, и спокойно пройти мимо — тем более что она вряд ли вглядывалась в лица, да и вообще что-либо замечала. Но... у меня находились их с дочерью вещи... три клеенчатые сумки...

возможно, вся их жизнь, в которой было нечто... разгадка того, почему она это сделала.

Я сел рядом и осторожно потрогал бывшую съемщицу дворничихи за плечо. От нее за версту разило какой-то дешевой сивухой, к аромату которой столь гармонично примешивался мощный дух до отказа набитых Петровной перед отъездом мусорных баков. Наша дворничиха была женщиной обстоятельной — и эта родственная ей душа, по-видимому, тоже. Так напиться — нужно было иметь талант. Или призвание. Или то и другое вместе. Как я уже заметил, я не люблю пьяных. Особенно если пьет женщина. Имел опыт.

— Добрый вечер... — сказал я натужно. — Ваши вещи э-э-э... у меня.

Она все так же сидела, уставясь в никуда. Я снова слегка коснулся ее пальцами — и тут она упала. Просто свалилась, как тряпичная, — почти беззвучно, не произнеся при этом ни слова, и единственное, что донеслось до моих ушей, — это стук ее лба, вошедшего в клинч с грязным асфальтом.

Я ненавижу пьяных. Кажется, я об этом уже говорил, и даже, по-моему, не один раз. Теперь же я почувствовал, что испытываю и сильную неприязнь к дворникам, особенно к тем, которые сначала поднимают тебя среди ночи, а потом вламываются к тебе ни свет ни заря, чтобы всучить поллитруху и ведро сомнительной закуски к ней. Поэтому я сначала мысленно проклял Петровну, заодно и всю ее родню вместе с кабаном, его салом и свежиной, а затем попытался поднять с асфальта упавшее тело.

Она была маленькая, очень худая — и неожиданно очень тяжелая. Передвигаться на протезе мне было куда удобнее, чем на костылях, однако за последние сутки я устал и физически, и морально, кроме того, я не рассчитывал провести остаток сегодняшнего вечера именно так.

— Держитесь же, черт вас побери! — прошипел я злобно, нахлобучивая ей на голову грязную шапку.

Держаться, однако, она не желала. Ноги тоже не стремились переставляться — поэтому я поволок ее как придется, уже не озабочиваясь, что со стороны мы точь-в-точь пара набравшихся, как осенние лужи, алкашей. Я был трезв, но тихо и внятно матерился, а ноги той, что была пьяна за двоих, так и не сделали никаких ожидаемых движений — просто волочились, стукаясь о ступени.

Когда я дотащил ее до своей двери, обнаружил, что один ботинок с нее слетел. Правая нога осиротела, явив миру наивный розовый носок с японской кошкой Кити. Это почему-то разъярило меня так, что захотелось немедленно надавать напившейся по щекам. Я подобрал валявшуюся в метре от бесчувственного тела обувь и в бешенстве швырнул ее в женщину. Ботинок пролетел в сантиметре от ее лица и ударился о мою собственную дверь, оставив на ней грязный отпечаток.

— Р-р-адистка Кэт, бл...ь! — прокомментировал я.

И вот на этом месте наших отношений, начавшихся в точке, когда она свалилась с огрызком веревки на шее прямо на меня, — нет, еще раньше, когда я пытался удержаться на ногах и удержать жизнь в ее конвульсивно содрогающемся теле, — вот тут мне стало стыдно. Что я знаю об этой женщине, кроме того, что ночью она пыталась повеситься, а сейчас — напиться до потери рассудка? Нет, скорее, до потери памяти... потому что память — отвратительная штука. Иногда и мне хотелось сделать нечто, позволившее бы никогда не вспоминать то, о чем я помнил всегда. Постоянно. Помнил сначала пьяный — в те времена, когда еще надеялся, что алкоголь поспособствует забвению, а потом, когда уразумел, что от этого только хуже, помнил трезвый. Помнил даже во сне. Наверное, я отдал бы оставшуюся ногу, только чтобы больше ни разу в жизни ЭТОГО не вспоминать...

Когда я уже перетащил ее через порог, женщина открыла глаза, посмотрела на меня неожиданно осмысленным взглядом и словно бы узнала.

— Г-галоперидол, — выговорила она.

Зрачки у нее были булавочные, руки и ноги — совершенно ледяные. Я несколько секунд подумал и набрал номер человека, с которым предпочитал встречаться совсем по другим поводам.

Сны, которых не могло быть

— Спи, спи...

Мама неуверенными руками, по одному отцепляла тоненькие пальчики Степанка от своей сорочки. Марийка уже спала, а я лежала тихо — знала, спрашивать ни о чем нельзя, еды все равно нет, что для меня, что для них, совсем еще маленьких... но Степанко был слишком несмышлениш, чтобы понимать это.

— Ма-а-амо... сиси-и-и... — тянул он.

Молока у матери не было, наверное, уже месяца два — но через секунду братик уже зачмокал, засопел, изо всех сил вжимаясь крохотным, с кулачок, личиком, в темную, пустую, словно кожаный кисет без табака, материну грудь.

Месяц оголтело светил в окно, так, что можно было рассмотреть все: и Марийкины спутанные косы на старом вытертом кожухе, и стол — чистый и пустой, словно гроб... Стол без крошки хлеба... когда-то эти крошки еще оставались между досками, но мы давно выковыряли их и пережевывали вместе со щепками.

Степанко уже перестал хныкать и плаксиво бормотать, но мать все сидела — и лицо у нее было такое же пустое, как и ее обвисшие груди. Наконец она опустила самого

младшего на постель и сама улеглась рядом, но не спала — так же, как и я, и ее черные сухие глаза блестели в лунном свете неживым, стеклянным блеском.

— Весна... скоро, — прошептала она очень тихо, но я все же услышала. — Доживем... нет?..

А месяц все светил и светил — ему было все равно, месяцу, на кого светить — на живых или на мертвых. Мы были еще не мертвые — но уже словно бы и не живые. И до весны на самом деле было еще далеко — даже Рождества еще не справляли... Какое странное слово — «справляли», словно металлическое, как и вкус во рту... Справляли... в кузне кузнецы ковали... бом, бом, бом-м... В моей голове внезапно зазвонили сначала молоточки, а потом забухали церковные колокола. Нет... нет теперь никаких колоколов... это просто в ушах звенит от голода. Или кукушка кукует? Кукушка-брехушка... самая никчемная, бесполезная птица... зачем прошлой весной ты накуковала мне так много лет? Ку-ку...ку-ку... ты все врала и врала, а я, дурочка, считала и считала, пока не сбилась, потому что люди так долго и не живут... А она, пернатая врунья, все сидела на самой высокой березе, все отсчитывала, все сулила... Ку-ку... ку-ку... ку-ку... А потом снялась и полетела. Хорошо птицам — летят поверх границ, и никому их не удержать... задержать... Птицы могут улететь, скрыться от голода, смерти, страха... от всего, что нас убивает... Здесь убивает... Исподволь, исподтишка... каждый день. И пусть глупые людишки копошатся себе внизу... И пусть надеются!.. Будем ли мы когда-нибудь справлять еще хоть какие-то праздники? Вырастет ли Степаночко, чтобы выбежать из хаты на Андрея зимнего: сияющее круглое личико все в саже, на ногах — новые сапожки, а вместо лошадки — кочерга.

— Вот тебе кочережка, дед, живи здоровый сто двадцать лет!

И — вихрем через все село, по тропинке к лесу, к старой, приземистой дедовой хате, в которой посередине, на крюке, уже висит огромная медовая калита. На том самом крюке, на котором когда-то висела люлька, качавшая всех счастливых, родившихся тут детей, и моего отца тоже. А теперь дед на красной атласной ленте повесил для нас, внуков, калиту — от нее надо ухитриться откусить и еще и не рассмеяться при этом! А как не рассмеяться, когда дед смотрит хитро-прехитро, дергая за ленту, когда мы все прыгаем вниз, и при этом прячет собственную улыбку в длинные прокуренные усы?

Мы кружим вниз, скачем, сталкиваемся и неудержимо хохочем. Потом снова становимся серьезными: не смеяться, не смеяться! Не то ни я, ни Марийка не найдем женихов... а это так важно! Просто нет ничего важнее! Наконец дед делает вид, что зазевался, и калита, вся в янтарном меду, хрустнет под чьими-то зубами... Мы снова прыгаем вокруг, а дед своими огромными пальцами ломает лакомство на кусочки, которые мы тут же съедаем. «Калита-калита, сладкая была, мы тебя съели, за женихами полетели», — мелодично, тонким голоском выводит-звонит Марийка, наша певунья, и получает в награду красную ленту, всю в медовых крошках на конце, таких вкусных... Зачем же она отряхивает их на пол, когда все это нужно тоже немедленно отправить в рот?!

Я сглатываю и сглатываю неудержимым фонтаном бьющую горькую слюну, борясь с подступившей к горлу тошнотой. Картинка, которую я так ясно видела, пропадает. Никогда мы больше не будем ничего праздновать... Никогда... Никогда... Какое страшное это слово — никогда! Я не хочу ничего видеть! И слышать тоже больше ничего не хочу!

Бом-м... Бом-м... Бом-м...

Снова звонят... я уже не знаю, сплю я или нет, а может, я уже умерла и это звонят в церкви, в раю? Но церкви боль-

ше нет... И рая нет. И святых тем более нет... И нет той самой доброй Варвары, что ризы Богу вышивала... Варвары с ножницами и иголкой, которая вчера у ночи минутки отрезала, а к дню притачала... И теперь уже точно пойдет день прибавляться к весне... к весне... К весне, которой мы не увидим.

Гошка: он же Мышкин, или Круглый идиот

— Ага... вижу, период полураспада уже миновал. Гош, просвети меня: где ты ее подобрал, а?

— Место знаю, — буркнул я.

В воздухе до сих пор висит тяжелый запах рвоты, потому как бывшую самоубийцу дотащить до туалета не удалось — ее вытошнило прямо на пол в гостиной. Особо из ее организма ничего не изверглось, но спазмы были мучительными, а запах — невыносимым. Скорее всего, она сегодня ничего не ела — но вот пила... Ацетон она употребляла, что ли?

— Ладно, не мое дело... Моя работа — снять интоксикацию...

Явившийся спаситель эскулап, а по совместительству друг детства, ловко приспособил к настенному светильнику раствор в пластиковом контейнере, воткнул в бесчувственное тело внутривенный катетер, а уже в него — разъем капельницы.

— Твоя фамилия, случайно, не Мышкин? — невинно интересуется он.

— Который идиот в отношениях с женщинами?

— Ну вроде того...

— Круглый?

— Чего круглый?

— Идиот круглый или у меня еще есть шанс?

— Иди ты... круглый, не круглый... А вот на шее у нее что? — вдруг профессиональным взором замечает друг.

— Вешалась. Этой ночью, — мрачно информирую я.

— Причина была или просто истеричка и поугасть хотела?

— Не знаю. Я ее первый раз в жизни вижу... вернее, второй. Но ночью я ее толком и не разглядел, — признаюсь я.

Женщина лежит на диване, очень бледная, коротко подстриженные темные волосы взлохмачены, глаза закрыты — поэтому какого они цвета, я до сих пор не знаю. На очень белой тонкой шее багровеет полоса. Я встаю и зачем-то поправляю одеяло, которым она укрыта, так, чтобы этой полосы не было видно. Затем, желая замаскировать свой невольный порыв, подтыкаю одеяло и у розовых детских носков. Тяну руку — поправить голову на подушке: если вдруг ее снова начнет рвать, чтобы не захлебнулась, — но вдруг глаза под сомкнутыми веками начинают быстро двигаться, и я отдергиваю пальцы.

— Фаза быстрого сна, — комментирует доктор. — Глюкозка пошла! Закусывает, стало быть!

Он ловкими и бесцеремонными врачебными руками сам укладывает пациентку на бок и приглашает:

— Покурим?

Мы идем на кухню и усаживаемся у открытого окна. Сигаретный дым смешивается с дымом с улицы: где-то жгут листья.

— Кофе? — предлагаю я.

— Давай... все равно до утра возиться.

Мы пьем кофе, черный, как эта ночь, и вязкий, как дыхание женщины за стеной... Я чувствую, что от меня ждут хоть каких-то пояснений, и говорю:

— Соседка вчера позвала. Дворничиха наша. Она у нее квартиру снимала. А утром она ее вышибла. Вещи вот при-

несла, — я киваю на выставленные в ряд сумки, видимые с места, где мы сидим.

— Так чего, она теперь у тебя? — уточняет друг. — И долго? Похоже, князь, эти грабли у вас фамильные... с гравированным золотом девизом «Если не я, то кто?» и гербом с тремя бутылками на пиковом поле!

Я зло давлю окурок в пепельнице, а затем делаю то, чего не делаю никогда, — вышвыриваю его в окно, добавляя тем самым Петровне, из-за которой, собственно, я и попал в дурацкое положение, работы. Еще мне хочется препроводить туда же и сумки, безмолвным укором выстроившиеся в коридоре, а заодно и всю невыносимую ситуацию в целом.

— Не знаю... — игнорируя издевку, сквозь зубы сообщаю я. — На улицу в таком виде я ее выкинуть не могу! У нее еще и дочка есть... лет десять... может, двенадцать... я не разбираюсь.

— А ребенок сейчас где?

Мне этот вопрос почему-то ни разу не пришел в голову, и я еще раз выдавливаю:

— Не знаю...

— А вещи? Ну, сумка дамская у нее с собой была, нет?

Доктор Гена, видимо привыкший к внештатным ситуациям как у себя в лечебнице, так и там, куда его регулярно вызывают для выведения клиентов из запоя или ломки, без стеснения роется в куче на полу: куртка, потерявшая всякий приличный вид шапка, ботинки, испачканный рвотой свитер... наконец он выуживает потертый кожаный рюкзачок, а из него — неожиданно дорогой смартфон. Генка хмыкает и начинает рыться во входящих-исходящих, а я брезгливо беру свитер двумя пальцами и ковыляю на своей натруженной протезом за целый день культе в ванную, чтобы засунуть его в стиралку... но прохожу мимо и кидаю мерзкий комок в мусорное ведро, где уже покоятся две тряпки, которыми

я час назад вытирал пол. Из ведра шибает так, что перехватывает дыхание, и я спешу спровадить пакет вместе с запахом прямо в уличный бак. На обратном пути в дверях меня встречает Геныч:

— Девчонка сегодня у подружки осталась, — бодро докладывает он.

— Одной заботой меньше, — бурчу я.

— Кстати, ее зовут Жасмин! — говорит он. — А дочку — Алисой.

— Да хоть Крапивой и Сумасшедшей Соней! — в сердцах отзываюсь я. Жасмин! Ну и ну!

— Сумасшедшим был Шляпник, а не Соня, — поправляет Генка. — Добавлю-ка я еще и транквилизатор — так, на всякий пожарный... — решает он.

Друг детства удаляется в комнату и, пошуровав в привезенной переносной аптечке, сливает в очередной пакет с раствором целый шприц какой-то крутой панацеи, сопровождая действия успокоительно-циничным:

— Теперь девочка Жасмин уже не повесится... вены сегодня тоже резать не будет. Ну а если будет — значит, медицина на дому тут бессильна... Тогда вызывай бригаду и пусть везут, куда Ивана Бездомного возили.

— Так и сказать?

— Можно прямым текстом. Они разберутся. Ну, капать еще часа четыре. Если хочешь, ты покемарь, а я тут посижу. Красавица наша очухается и пи-пи захочет, надо будет сопровождать... Кстати, Гош, ты клеенку под нее не догадался положить? Давай я тогда пеленочку на твой диванчик засобачу... чисто на всякий случай. Не знаешь, кроме дочки родственники у этой Жасмин есть? Неудобно с ее трубы всем подряд трезвонить, сам понимаешь...

— Не знаю, — раздраженно говорю я. — Я ж тебе говорю — я ее меньше суток назад в первый раз увидел!

— И сразу домой притащил?

— А что было делать? У меня ж ее вещи!

— Да... Ты у нас, выходит, мать Тереза и Санта-Клаус в одном лице...

— Галоперидол.

— Что?

— Она сказала, что я — Галоперидол. Вроде того.

— Ну-ну, — хмыкает Генка. — Принцессу Жасмин спас принц Галоперидол! Так и запишем в анамнезе!

Гошка: жертва алкоголя

Она смотрела на меня и двигалась, словно бы в полусне. Наверное, так полагалось, но спросить было уже не у кого: утомленный ночным бдением Генка смотал удочки еще пару часов назад, и звонить ему сейчас, чтобы справиться, как именно должна выглядеть вчерашняя жертва алкоголя, было, по меньшей мере, жестоко — Генка наверняка дрых без задних ног.

Я вполглаза дремал в кресле напротив — на всякий случай, однако под утро усталость взяла свое — я таки вырубился и пропустил момент, когда она окончательно пришла в себя.

Та, которую назвали совершенно нелепым в наших широтах именем Жасмин, что-то с грохотом уронила за стеной — наверное, швабру с отжимом в ванной, за которую я и сам цеплялся через раз. Я не знал — бежать на выручку или просто сделать вид, что еще сплю, ничего не замечаю, и тем самым дать ей освоиться... но тут я вспомнил другой грохот — как ее девчонка, Алиса, прошлой ночью рассыпала в дворницкой ножи, и вскочил как ошпаренный. Хотя Генка обещал, что топиться или резать вены эта полоумная Жасмин сегодня точно не будет, — но выпустить ее из виду

мне не хотелось. Только сейчас я наконец по полной заценил парафраз дематериализовавшейся Петровны: «На улице скоко хошь вешайся, а не у меня в квартере»... Бессмертные слова!

Я решительно больше не хотел видеть эту дуру с экзотическим именем... вынимать ее из петли, подтирать блевотину или волноваться, пошла ли ее дочь в школу... хотя сегодня, кажется, была суббота и никому никуда не нужно было идти. И все же, несмотря на выходной, мне захотелось немедленно куда-нибудь смотаться, оставив в одиночестве ту, что бродила сейчас в недрах моего жилища, велев ей захлопнуть за собой дверь, а вернуться ближе к вечеру — когда и ее самой, и ее потрепанного имущества в складках местности уже и дух простынет.

— Доброе утро, — вежливо сказал я. — Давайте я вам кофе сварю?

— Не нужно... я сейчас уйду.

Спина у нее была такая же напряженная, как и голос.

— Спасибо вам... еще раз.

— Не за что, — отвечивал я сухо. — Ваша дочь сегодня ночевала у подруги. Ваш свитер пришлось выбросить.

— Ничего... вернее, спасибо, что вы... что я... Вообще-то я не пью, — выдавила она, по-прежнему стоя спиной ко мне.

— И не вешаетесь по пятницам? Или это был еще четверг?

— Это было... — вспыхнула она, однако сразу же взяла себя в руки, — не совсем правильное решение.

— И по этому поводу вы решили выпить? Потому что подумали и нашли правильное?

— А вы меня вынули из петли, а потом подобрали на улице, чтобы иметь право читать нотации? Это ваше хобби? По пятницам и субботам? Или это поднимает самооценку? Кстати, сколько я вам должна? Доктор на дом... внутривен-

Содержание

Гошка, он же инвалид	7
Женщина: попытка повеситься	11
Галоперидол и Радистка Кэт	20
Сны, которых не могло быть	24
Гошка: он же Мышкин, или Круглый идиот	27
Гошка: жертва алкоголя	31
Жасмин: консультант по контенту, или Два кармана украденной гречки	33
Гошка, Георгеоргич, Гога, Гошенька и Герка	40
Жасмин: когда же будут бить?	47
Сны, которых не могло быть	52
Жасмин: ночь, страх	57
Жасмин: свет по имени Люся	63
Сны, которых не могло быть	71
Гошка и женщина с неудобным именем	75
Гошка: Яся, темнота, духи́ и дүхи	80
Сны, которых не могло быть	85
Яся: сбежавший кофе, или Расставить все по местам	89
Яся: личная жизнь номер два, или Языковые матрицы	96
Сны, которых не могло быть	101
Гошка, тихий городской сумасшедший	104
Жасмин, Яся и елка из позолоченных макарон	110
Сны, которых не могло быть	114
Яся: я не хочу!	117
Гоша, который просто ехал мимо	121
Гоша, который все-таки употребил	125

Сны, которых не могло быть..	133
Яся: из сна в сон.	138
Сны, которых не могло быть..	139
Яся: ночные откровения.	144
Сны, которых не могло быть..	155
Мадам Жасмин: неизгладимое впечатление на мужчин и психиатров	158
Гошка и специалист по связям с инопланетянами..	164
Галоперидол и Радистка Кэт, продолжение	167
Сны, которых не могло быть..	173
Жасмин: полет шмеля, или Я не боюсь!	177
Сны, которых не могло быть..	181
Георгий: будь что будет!..	188
Сны, которых не могло быть..	193
Георгий: хорошо тому живется, у кого одна нога!	199
Жасмин: страшнее кошмаров	202
Сны, которых не могло быть..	207
Жасмин: полька-бабочка...	214
...И добрые дела, которыми вымощена дорога в ад	218
Георгий: кактус, желающий цвести	220
Жасмин Сергеевна, или Карамелька в кармане	224
Сны, которых не могло быть..	227
Жасмин: маска Кити, или Мы едем домой.	233
Георгий: конфликт дня и ночь откровений	241
Сны, которых не могло быть..	247
Георгий: окно напротив, или Несущие крест вины.	252
Георгий: вчера, сегодня, завтра.	256
Сны, которых не могло быть..	260
Жасминсергеевна: держаться за Георгеоргича и... Петровну	264
Сны, которых не могло быть..	267
Жасмин: женщина с басурманским именем без креста..	273
Георгий: старые фотографии..	276
Жасмин, Георгий, Мария	278
Георгий: единственный способ все узнать..	286
Глава последняя: Жасмин, а также все остальные	295

Літературно-художнє видання

КОСТИНА Наталя
Все, що ми ще скажемо

Роман
(російською мовою)

Керівник проекту *В. А. Тютюнник*
Відповідальний за випуск *К. В. Озерова*
Редактор *М. В. Ткаченко*
Художній редактор *В. О. Трубчанинов*
Технічний редактор *В. Г. Євлахов*
Коректор *І. В. Набока*

Підписано до друку 11.06.2018. Формат 84x108/32. Друк офсетний.
Гарнітура «Minion Pro». Ум. друк. арк. 15,96. Наклад 7500 пр. Зам. №

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а. E-mail: cor@bookclub.ua

Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом
у друкарні «Фактор-Друк»
61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

Литературно-художественное издание

КОСТИНА Наталья
Все, что мы еще скажем

Роман

Руководитель проекта *В. А. Тютюнник*
Ответственный за выпуск *Е. В. Озерова*
Редактор *М. В. Ткаченко*
Художественный редактор *В. А. Трубчанинов*
Технический редактор *В. Г. Евлахов*
Корректор *И. В. Набока*

Подписано в печать 11.06.2018. Формат 84x108/32. Печать офсетная.
Гарнитура «Minion Pro». Усл. печ. л. 15,96. Тираж 7500 экз. Зак. №

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
Св. № ДК65 от 26.05.2000
61140, Харьков-140, пр. Гагарина, 20а. E-mail: cor@bookclub.ua

Отпечатано согласно предоставленному оригинал-макету
в типографии «Фактор-Друк»
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

УКРАИНА

- по телефонам справочной службы
(050) 113-93-93 (МТС); (093) 170-03-93 (life)
(067) 332-93-93 (Киевстар); (057) 783-88-88
- на сайте Клуба: www.bookclub.ua
- в сети фирменных магазинов см. адреса на сайте Клуба или по QR-коду



Для оптовых клиентов

Харьков

тел./факс +38(057)703-44-57
e-mail: trade@ksd.ua

Киев

тел./факс +38(067)575-27-55
e-mail: kyiv@ksd.ua

**Приглашаем к сотрудничеству
авторов**

e-mail: publish@ksd.ua

**Приглашаем к сотрудничеству художников,
переводчиков, редакторов**

e-mail: editor@ksd.ua

Жасмин — жінка, що втекла з донькою від чоловіка-деспота і зневірилася знайти спокій і щастя в чужому місті. Георгій — інвалід, який втратив в автокатастрофі ногу, дружину і, схоже, самого себе. Дві ці зранені душі зустрілися не випадково — це шанс, подарований їм вищими силами, шанс знайти кохання, про яке обоє мріяли. Георгій всім серцем прив'язався до чуйної та ніжної Жасмин, і вона розтанула, відчувши себе коханою. І коли чоловік Жасмин несподівано знаходить утікачку і хоче відібрати у неї дочку, жінка-квітка тепер не одна — поруч з нею чоловік, якого вона чекала все життя.

Костина Н.

К72 Все, что мы еще скажем : роман / Наталья Костина. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. — 304 с.

ISBN 978-617-12-4981-3

Жасмин — женщина, сбегавшая с дочерью от мужа-деспота и отчаявшаяся найти покой и счастье в чужом городе. Георгий — инвалид, потерявший в автокатастрофе ногу, жену и, похоже, самого себя. Две эти израненные души встретились явно не случайно — им благоволят высшие силы, даруя шанс обрести любовь, о которой оба мечтали. Георгий всем сердцем привязался к чуткой и нежной Жасмин, и она оттаяла, почувствовав себя любимой. И когда муж Жасмин неожиданно находит беглянку и хочет отобрать у нее дочь, женщина-цветок теперь не одна — рядом с ней мужчина, которого она ждала всю жизнь.

УДК 821.161.1(477)



Белка и Таня, две подруги-студентки, влюбляются в одного парня — программиста Никиту. Когда после экзамена Белка мчится на первую встречу с возлюбленным, она попадает в аварию. Тем временем подруга встречается с Никитой и влюбляет его в себя... Девушка в больнице пытается справиться с предательством. Ей помогает соседка по палате, которая пережила похожую ситуацию. Белка не в силах сдержать эмоции. Она, кажется, способна убить Таню. Правда, только на бумаге. И это полностью изменит ее жизнь...